

Центральная станция

Автор:

[Леви Тидхар](#)

Центральная станция

Леви Тидхар

250 000 мигрантов остались жить у подножия гигантского космического вокзала. Культуры сплавилась вместе, как реальность и виртуальность. Город вокруг продолжает расти, словно сорняк.

Жизнь дешева, а инфа ничего не стоит.

Борис Чонг возвращается домой с Марса. Много изменилось. У него появился ауг – марсианский симбионт, меняющий восприятие. Бывшая любовница воспитывает странного ребенка, способного «касаться» сознанием потоков данных. Двоюродная сестра влюблена в работника – поврежденного киборга, ветерана войн, о которых уже никто не помнит. Отец неизлечимо болен раком памяти. А следом за Борисом тайно прилетает инфо-вампир.

Над ними всеми возвышается Центральная станция, межпланетный узел между Землей и космическими колониями, куда человечество во всем своем многообразии ушло, чтобы избежать войн и бедствий. Все связано с Иными, могущественными сущностями, которые через Разговор, глобальную сеть потока сознания, вызывают безвозвратные изменения.

Люди и машины Центральной станции продолжают приспособливаться, процветать и эволюционировать...

Леви Тидхар

Центральная станция

© Н. Караев, перевод на русский язык, 2018

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

* * *

Пролог

Впервые я прилетел на Центральную зимой. На лужайке сидели африканские беженцы с невыразительными лицами. Они чего-то ждали, но чего – я не понимал. У скотобойни два филиппинских ребенка играли в самолетики: разведя руки в стороны, жужжали, кружили и палили из воображаемых подкрыльных пулеметов. За прилавком филиппинец рубил мясницким ножом грудину, дробя мясо и кости на отдельные порции. Чуть дальше стоял лоток с шаурмой «Рош ха-Ир» – его дважды взрывали террористы-самоубийцы, однако он, как обычно, был приглашающе открыт. По шумной улице плыли ароматы бараньего жира и тмина; у меня засосало под ложечкой.

Светофоры мигали зеленым, желтым, красным. На той стороне улицы мебельный магазин выпростал на тротуар щупальце из безвкусных кроватей и стульев. Сбившиеся в стайку наркари болтали, сидя на обожженном фундаменте старого автовокзала. Я смотрел на мир сквозь темные очки. Солнце висело высоко в небе, и, хотя воздух был холодный, зима стояла средиземноморская – светлая и на тот момент сухая.

Я побрел по пешеходной улице Неве-Шанаан. Нашел укрытие в крохотном шалмане: пара деревянных столов и стульев, маленькая стойка, предлагающая пиво «Маккаби» и что-то еще. Нигериец за стойкой взирал на меня без всякого

выражения. Я попросил пива. Сел, достал блокнот и ручку, уставился на страницу.

Центральная станция, Тель-Авив. Настоящее. Ну или одно из. Новая атака на сектор Газа, грядут очередные выборы, на юге, в пустыне Арава, строят массивную разделительную стену, чтобы остановить прибывающих беженцев. Беженцы уже в Тель-Авиве, скапливаются в районе старого автовокзала на юге города, 250 тысяч человек, экономические мигранты, селящиеся тут с молчаливого согласия горожан: тайцы, филиппинцы, китайцы. Я отхлебнул пива. Гадкое. Я стал буравить взглядом страницу. Моросило.

Я написал:

Некогда мир был молод. Корабли Исхода едва начали покидать Солнечную систему; еще не открыли планету Хэвен; доктор Новум пока не вернулся со звезд. Люди жили так, как жили всегда: под солнцем и дождем, любя и не любя, под голубым небом и в Разговоре, и это все о нас – всегда.

Так было на старой Центральной станции, в огромном космопорте, который возвышается над пейзажами-близнецами арабской Яффы и еврейского Тель-Авива. Это случилось среди арок и булыжников, там, откуда до моря рукой подать: в воздухе витает запах смолы и соли, солнечные змеи и их крылатые серферы пикируют и вновь взмывают в небеса на рассвете.

Да, в то время появлялись удивительные дети: об этом вы еще прочтете. Вы, конечно, думали о детях Центральной. Думали вы и о том, как случилось, что стригу пустили на Землю. Центральная – лоно, из которого человечество выползло, цепляясь зубами и ногтями, к звездам.

Но это и отчий дом Иных, детей цифромира. В каком-то смысле это и их история тоже.

Здесь тоже есть смерть, разумеется; без нее не обходится. И Оракул, и альтезахен Ибрагим, и многие другие, чьи имена могут быть вам знакомы...

Но вы и так это знаете. Вы наверняка видели «Возвышение Иных». Там рассказано обо всем, разве что герои – сплошь красавцы и красавицы.

Это случилось очень давно, однако наша память крепка; и мы шепотом пересказываем друг другу старинные истории, невзирая на зоны, и остаемся жить между звездами.

Все началось с мальчика: он ждал отца, который все не прилетал.

В старинных историях на Землю однажды падает человек со звезд...

Один: Унижение дождем

Запах дождя застал их врасплох. Весна; аромат жасмина мешается с гулом электробусов; птичьими стаями кружат по небу солнечные глайдеры. Амелия Ко делает кваса-кваса-ремикс кавера Сьюзен Вонг на «Хочешь танцевать?» Первые серебряные пелены обрушиваются на город почти беззвучно; дождь глотает хлопки выстрелов, гасит горевший на улице багги, добирается до бездомного старика с рулоном туалетной бумаги в руке, присевшего по нужде у помойки, спустив серые портки до лодыжек; старик матерится, но беззлобно. Он привык к унижению дождем.

Некогда город получил имя Тель-Авив. К югу от него воспарила в атмосферу Центральная станция, опоясанная паутиной старинных малозумных хайвеев. Крыша станции вознеслась высоко и оттого невидима; ее машинно-гладкая поверхность принимает и отправляет в полет стратосферные транспорты. Вдоль тела станции пулями летают вверх и вниз лифты, а в самом нижнем аду вокруг космопорта суетится под лютым средиземноморским солнцем рынок, наводненный коммерцией, гостями и горожанами, а также стандартным набором карманников и личинников.

Мы скользим с орбиты вниз, к Центральной станции, перепыгиваем на уровень улицы и из проветриваемого кондиционерами лиминального пространства ныряем в нищету портовых кварталов, туда, где Мама Джонс и мальчик Кранки стоят, держась за руки, и ждут.

Дождь застал их врасплох. Космопорт, громадный белый кит, подобно живой горе высящийся над городской подошвой, притягивает строй облаков – сам себе миниатюрная погодная система. Как острова в океане, космопорты локализуют дожди, облачность, а также крепнущую отрасль мини-ферм, лишайником разрастающихся на обширных сооружениях.

Дождь был теплым, дождинки – тучными; мальчик вытянул руку и поймал каплю в чашечку пальцев.

Мама Джонс, родившаяся здесь, в этом многоименном городе от отца-нигерийца и матери-филиппинки, в этом районе во время оно, когда дороги еще гудели, вторя двигателям внутреннего сгорания, а Центральная наполнилась не суборбиталями, но автобусами, – Мама Джонс помнила войны и разруху, помнила, как нежеланна была в стране, за которую сражались арабы и евреи, – и смотрела на мальчика с гордостью, готовая защищать его до последней капли крови. Тонкая блестящая пленка, вроде мыльного пузыря, появилась между пальцами Кранки; мальчик источал силу и манипулировал атомами, чтобы создать вот эту штуку, защитную снежную сферу, пленившую единственную каплю дождя. Сфера парила, не касаясь пальцев, совершенная и не подвластная времени.

Мама Джонс ждала чуть нетерпеливо. Она владела шалманом в старом Неве-Шанаане, в пешеходной с давних пор зоне, под самым боком космопорта, и ей пора было возвращаться.

– Пойдем уже, – сказала она не без грусти. Мальчик перевел на нее темно-синие глазищи; эту совершенную синеву запатентовали лет двадцать или тридцать назад, потом геноклиники дорвались до нее, рипнули, хакнули – и теперь перепродавали беднякам за сущие гроши.

Говорят, в южных районах Тель-Авива клиники лучше, чем в Тибе и Юньнани, но Мама Джонс в этом сомневалась.

Дешевле – да, не отнять.

– Он прилетит? – спросил мальчик.

– Не знаю, – ответила Мама Джонс. – Может быть. Может, сегодня и прилетит.

Мальчик снова посмотрел на нее и улыбнулся. Улыбка делала его совсем ребенком. Он выпустил странный пузырь, и тот взмыл из руки вверх: единственная застывшая капля внутри устремилась сквозь дождь к породившим ее облакам.

Мама Джонс вздохнула и с тревогой взглянула на мальчика. Его имя, Кранки, – не имя как таковое. Это словечко астероид-пиджина, перемешавшего старые южнотихоокеанские контактные языки Земли, которые привезли с собой в космос шахтеры и инженеры, дешевая рабсила малайских и китайских компаний. От старого английского cranky: или брюзга, или безумец, или...

Просто чудик.

Человек, делающий что-то такое, чего другие не делают.

На астероид-пиджине это что-то называлось «накаймак».

Черная магия.

Маме Джонс было тревожно за Кранки.

– Он прилетит? Это он?

К ним шел высокий мужчина с аугом за ухом, с загаром, какой получают от машин, и шел он шатко, как бывает с теми, кто не привык к гравитации. Мальчик потянул Маму Джонс за руку:

– Это он?

– Может быть, – сказала она, ощущая всю безнадежность ситуации. Так было всякий раз, когда они с Кранки повторяли маленький ритуал, каждую пятницу перед наступлением шаббата, когда последний груз пассажиров прибывал в Тель-Авив из Лунопорта, марсианского Тунъюня, Пояса, других городов Земли – вроде Нью-Дели, Амстердама и Сан-Паулу. Каждую неделю, потому что мать мальчика перед смертью поведала ему, что отец вернется, что он богат и

работает далеко-далеко, в космосе, что однажды он точно возвратится, именно в пятницу, чтобы не опоздать к шаббату, – и позаботится о сыне.

А потом пошла, ширнулась христалётом, вознеслась на небеса в белом пламени – и узрела Господа, пока ей усиленно промывали желудок, но врачи опоздали, и Мама Джонс без особой охоты взяла на себя заботу о мальчишке, потому что больше некому.

На севере, в Тель-Авиве, евреи жили в небовысях, на юге, в Яффе, арабы вернули себе старую вотчину у моря. Здесь, посередине, по-прежнему жил народ земли, которую называли по-разному – Палестина, Израиль; люди, чьи предки приехали сюда как разнорабочие со всех концов света: с Филиппинских островов, из Судана, Нигерии, Таиланда и Китая; их дети родились здесь, и дети их детей, и говорили они на иврите, арабском, астероид-пиджине – почти универсальном языке космоса. Мама Джонс заботилась о мальчишке, потому что больше некому, – и по всей стране для всех ее анклавов правило было одно. Мы заботимся о своих.

Потому что больше некому.

– Это он! – Мальчик тянул ее за руку. Мужчина направлялся к ним, и что-то знакомое в его походке, в его лице вдруг смутило Маму Джонс. Неужели мальчик прав? Но это невозможно, Кранки еще не ро...

– Кранки, стой!

Мальчик, не отпуская ее руку, бежал к мужчине, а тот, увидев несущихся на него мальчишка и женщину, испуганно замер. Запыхавшись, Кранки остановился:

– Ты мой отец?

– Кранки! – сказала Мама Джонс.

Мужчина не шевелился. Потом сел на корточки, оказавшись с мальчиком лицом к лицу, всмотрелся в него серьезно и напряженно.

– Возможно, – сказал он. – Мне знакома эта синева. Она, я помню, была одно время в моде. Мы хакнули опенсорсную версию фирменного кода «Армани»...

Он поглядел на мальчика, потом постучал по аугу за ухом – марсианскому аугу, с тревогой отметила Мама Джонс.

На Марсе есть жизнь – не древние цивилизации, о которых грезили в прошлом, но все-таки жизнь, мертвая и микроскопическая. Кто-то нашел способ переконструировать ее генетический код – и создал аугментированные блоки...

Инопланетных симбионтов не понимал никто – и мало кто этого хотел.

Мальчик застыл, потом расплылся в блаженной улыбке. Он сиял.

– Хватит! – сказала Мама Джонс. Она толкнула мужчину, тот едва не потерял равновесие. – Хватит! Что вы творите?

– Я...

Мужчина покачал головой. Постучал пальцем по аугу. Мальчик будто оттаял и растерянно посмотрел по сторонам, словно потерялся.

– У тебя нет родителей, – продолжил мужчина. – Тебя вырастили в лабе, здесь, схакнули из геномов общего пользования и битого нода с черного рынка. – Он сделал вдох. – Накаймас, – добавил он и отступил на шаг.

– Хватит! – повторила Мама Джонс бессильно. – Он вовсе не...

– Я знаю. – Мужчина вновь обрел спокойствие. – Простите. Он говорит напрямую с моим аугом. Без интерфейса. Выходит, я тогда сработал лучше, чем думал.

Что-то было в его лице, в его голосе; внезапно у Мама Джонс сдавило грудь – давно забытое чувство, странное и беспокойное.

– Борис? – спросила она. – Борис Чонг?

– Что? – Он поднял голову и впервые удостоил ее вниманием. Теперь она видела его ясно: жесткие славянские черты, темные китайские глаза – всю его сборку, постаревшую, побитую пространством и временем, и все-таки это он...

- Мириам?

Тогда ее звали Мириам Джонс. Мириам – в честь бабушки. Она попыталась улыбнуться, не смогла.

- Это я, – сказала она.

- Но ты же...

- Я никуда не уехала, – сказала она. – В отличие от тебя.

Мальчик смотрел в точку между ними. Понимание и последовавшее разочарование исказили его лицо. Над головой Кранки собирался дождь, стягивался из воздуха, образуя дрожащую водяную пелену, преломлявшую солнце в маленькие радуги.

- Мне нужно идти, – сказала Мириам. Уже очень давно никто не звал ее Мириам.

- Куда? Подожди... – Борис Чонг неожиданно смутился.

- Зачем ты вернулся?

Он пожал плечами. За ухом пульсировал марсианский ауг, паразитирующая форма жизни, питающаяся хозяином.

- Я...

- Мне нужно идти. – Мама Джонс, Мириам; некогда – Мириам; та ее часть, давно похороненная, пробуждалась внутри, и оттого ей сделалось странно и неудобно; она дернула мальчика за руку, мерцающая водяная пелена над ним разорвалась, опала, не коснувшись его тела, нарисовала на мостовой идеальную мокрую окружность.

Каждую неделю Мама Джонс молча потакала немому желанию мальчика, вела его к космопорту, к этому блистающему уродству в самом сердце города, и они смотрели – и ждали. Мальчик знал, что вырос в чане, что его не вынашивало ничье материнское чрево, что он появился на свет в пошлой лаборатории: краска

на стенах облупилась, искусственные матки то и дело ломаются, – но ведь спросом пользовались и забракованные зародыши; спросом пользовалось все.

Однако, как и все дети, Кранки никогда в это не верил. В его сознании мать и правда улетела на небеса, прибыла к райским вратам на христалёте, и отец в его сознании должен был возвратиться, ровно как мать обещала: сойти с небес Центральной станции и спуститься в его район, неприветливо зажатый между Севером и Югом, между евреями и арабами, – и найти Кранки, и дать ему любовь.

Мама Джонс вновь потянула мальчика за руку, и тот пошел с ней, и ветер шарфом обернулся вокруг него, и она знала, о чем он думает.

Может быть, на следующей неделе он прилетит.

– Мириам, подожди!

Борис Чонг, некогда красавец; тогда и она была красавицей, давно это было, мягкими весенними ночами они лежали на крыше старого дома, набитого прислугой богатеев Севера; они свили гнездышко между солнечными батареями и ветроуловителями, маленькое прибежище из старых, выброшенных на помойку диванов и цветистого ситцевого навеса из Индии с политическими слоганами на языке, которым не владели ни она, ни он. Там они лежали, упиваясь своими нагими телами на высокой крыше, весной, когда воздух жарок и напоен ароматами сирени и кустов жасмина, поздно зацветшего внизу, благоухавшего по ночам, – под звездами и огнями космопорта.

Она не остановилась, до шалмана было рукой подать, мальчик шел рядом, а этот мужчина, ныне чужак, некогда юный и красивый, шептавший ей на иврите слова любви, только чтобы бросить ее, давно, так давно это было...

Мужчина следовал за ней, мужчина, навсегда ею забытый, и ее сердце билось все чаще, старое сердце из плоти и крови, которое она так и не сменила. Но Мама Джонс шагала дальше, мимо лотков с овощами и фруктами, мимо геноклиник, мимо торгующих поношенными снами загрузцентров, мимо обувных лавок (всем и всегда надо обуваться), мимо клиники освобождения, мимо суданского ресторана, мимо помоек и в конце концов пришла к своему шалману «У Мамы Джонс», убогому трактирчику, что втиснулся между обивочной и ногам

церкви Робота, ведь всем и всегда требуется переобивать старые кресла и диваны – и всем и всегда нужна вера, какая б ни была.

И бухло, думала Мириам Джонс, входя внутрь: надлежаще приглушенный свет, деревянные столы, на каждом скатерка, ближайший нод транслировал бы выборку программных фидов, если бы его не так давно не перебили на южносуданский канал, показывающий ералаш из священных проповедей, никогда не меняющихся прогнозов погоды и дублированных повторов долгоиграющего марсианского мыла «Цепи сборки», – вот и все.

Высокая барная стойка предлагает палестинское пиво «Тайба» и израильское «Маккаби» в разлив, русскую водку местного производства, ассортимент безалкогольных напитков и лагера в бутылках, кальян для клиентов и доски для нардов для них же; приличная пивнуха, доход дает небольшой, но хватает на еду, аренду и заботу о мальчике, так что Мама Джонс своим бизнесом гордилась. Это было ее место.

Внутри наблюдалась жалкая горстка завсегдатаев; два докера из космопорта вели любезную беседу, деля после смены кальян и потягивая пиво, плескался в ведре с водой лакавший арак осьминоид, и еще Исобель Чоу, дочь подруги Мириам, Ирены Чоу, сидела, будто глубоко задумавшись, с мятным чаем. Мириам на ходу легонько дотронулась до плеча девочки, но та не шелохнулась. Она была в глубоком виртуалье, иначе говоря, в Разговоре.

Мириам прошла за стойку. Вокруг со всех сторон кипел, гудел и взывал нескончаемый трафик Разговора, но подавляющую часть фидов она просто выключала из сознания.

– Кранки, – сказала Мама Джонс, – думаю, тебе пора домой, делать уроки.

– Уже, – ответил мальчик. Он внимательно смотрел на ближайший кальян и одной рукой лепил из голубого дыма ровный гладкий шарик. Кранки был поглощен этим занятием. Мама Джонс стояла у кассы и почти расслабилась, ощущая себя царицей в своих владениях, и тут услышала шаги; мелькнула тень – и высокий, тонкий силуэт мужчины, которого она знала давным-давно под именем Бориса Чонга, скользнул внутрь, пригнувшись в слишком низком проходе.

– Мириам, мы можем поговорить?

– Что будешь пить?

Она указала на полки за спиной. Зрачки Бориса Чонга расширились, и по позвоночнику Мамы Джонс пробежал холодок. Борис безмолвно общался со своим марсианским аугом.

– Ну?.. – получилось резче, чем она хотела. Борис выпучил глаза еще больше. Он был будто испуган.

– Арак.

Он вдруг улыбнулся, и улыбка преобразила его лицо, сделала Бориса моложе, сделала его...

«Человечнее», – решила она.

Она кивнула, взяла с полки бутылку, налила стакан арака – анисовой водки, обожаемой в этих местах, – добавила льда и поставила стакан на столик, потом принесла охлажденную воду: когда разбавляешь арак водой, напиток меняет цвет, прозрачная жидкость мутнеет и делается светлой, как молоко.

– Посиди со мной.

Она постояла, скрестив руки, потом смягчилась. Села – и после секундного замешательства Борис сел тоже.

– Ну? – сказала она.

– Как ты тут?

– Хорошо.

– Ты знаешь, я должен был уехать. Здесь не было работы, не было будущего...

- Здесь была я.

- Да.

Ее глаза успокоились. Она знала, конечно же, о чем он говорит. И винить его не могла. Она поощряла его стремление уехать, а когда он уехал, обоим ничего не оставалось, кроме как двигаться дальше, и она в целом не жалела о жизни, которую вела.

- Это твой бар?

- Он вполне окупается: аренда, счета... Я забочусь о мальчике.

- Он ведь...

Она пожала плечами:

- Из лабораторий. Может даже, один из твоих, как ты и сказал.

- Их было так много, - протянул он. - Мы делали их из любых ничейных геномов, до которых могли добраться. Они все такие, как он?

Мириам покачала головой:

- Я не знаю... за всеми детьми не уследишь. Они же не остаются детьми. Не навсегда. - Она позвала мальчика: - Кранки, ты не мог бы принести мне кофе, пожалуйста?

Мальчик обернулся, серьезно уставился на обоих, в руке еще вращается дымный шар. Кранки подбросил его в воздух, и дым, обретя свои обычные свойства, рассеялся.

- Оу-у-у... - протянул мальчик.

- Кранки, сейчас же, - велела Мириам. - Спасибо.

Мальчик пошел к стойке, а Мириам вновь обернулась к Борису:

– Где ты был все это время?

Он пожал плечами.

– На Церере, в Поясе, работал на одну малайскую фирму. – Он улыбнулся. – Никаких младенцев. Просто... чинил людей. Потом три года жил в Тунъюне, подхватил вот это...

Он показал на пульсирующую массу биоматерии за ухом.

Мириам стало любопытно:

– Это... больно?

– Он растет вместе с тобой, – ответил Борис. – Тебе вводят... семечко этой штуковины, оно сидит под кожей, прорастает. Это... может быть неприятно. Не физически, а когда ты начинаешь с ним общаться – и создается сеть.

Мириам было странно даже смотреть на ауг.

– Можно пощупать? – неожиданно для себя спросила она. Борис казался ужасно самоуверенным; он всегда был таким, подумала она, и безжалостный луч гордости и любви прошел ее насквозь, и ей стало страшно.

– Конечно, – сказал Борис. – Вперед.

Она потянулась и робко потрогала ауг кончиком пальца. Удивилась: почти как кожа. Может, чуть теплее. Нажала, ощущение, будто под пальцем фурункул. Убрала руку.

Мальчик, Кранки, принес в турке с длинной ручкой черный кофе с корицей и семенами кардамона. Мириам, налив кофе в фарфоровую чашечку, взяла ее двумя пальцами. Кранки сказал:

– Я его слышу.

– Кого ты слышишь?

– Его, – упрямо повторил мальчик и показал на ауг.

– И что же он говорит? – спросила Мириам, отпив кофе. Она видела: Борис пристально смотрит на мальчика.

– Он смущен.

– В смысле?

– Он чувствует в хозяине что-то странное. Очень сильную эмоцию – или смесь эмоций. Любовь, страсть, сожаление, надежда – все переплетено... он такого никогда не испытывал.

– Кранки!

Мириам подавила нервный смешок, а Борис откинулся на стуле и покраснел.

– Все, на сегодня хватит, – сказала Мириам. – Иди поиграй на улицу.

Мальчик заметно просветлел:

– Правда? Можно?..

– Далеко не убегай. Чтоб я могла тебя видеть.

– Я всегда могу видеть тебя, – сказал мальчик и выбежал, не оглядываясь. Она уловила слабое эхо его движения в цифровом море Разговора, потом Кранки исчез в уличном шуме.

Мириам вздохнула:

– Дети.

– Все в порядке. – Борис улыбнулся, снова молодея, напоминая ей о прежних днях, прежнем времени. – Я часто думал о тебе.

– Борис, зачем ты прилетел?

Он опять пожал плечами.

– После Тунъюня я нашел работу в Галилейских Республиках. На Каллисто. Только они там, во Внешней системе, странные. Юпитер висит в небесах, и... у них странные технологии, и я не понимаю их религий. Слишком близко к Брошенным и Миру Дракона... слишком далеко от Солнца.

– Ты поэтому вернулся? – она ошеломленно хихикнула. – Соскучился по солнышку?

– Я тосковал по дому. Нашел работу в Лунопорте, это было изумительно – вернуться настолько близко, видеть восход Земли в небе... Во Внутренней системе я был как дома. Наконец-то взял отпуск – и вот я здесь. – Борис раскинул руки. Мириам ощутила невысказанную, тайную грусть, но подглядывать она не любила. А Борис продолжил: – Я тосковал по тому дождю, что идет из облаков.

– Твой отец жив, – сказала Мириам. – Я иногда его вижу.

Борис улыбался, но паутинки в уголках глаз – прежде морщин у него не было, подумала Мириам, внезапно ощутив жалость, – темнели старой болью.

– Да, он отошел от дел.

Она вспомнила, как отец Бориса, полукитаец-полурусский, великан в экзоскелете, вместе с другими строителями бригады стальным пауком карабкается по недостроенным стенам космопорта. В такие моменты в нем было что-то величественное: все они казались там, на верхотуре, насекомыми, сверкал на солнце металл, их клешни кромсали камень, возводя стены, которые, казалось, держат мир.

Теперь она иногда видела его в кафе: он играл в нарды, пил горький кофе из бесконечных чашек хрупкого фарфора, снова и снова бросал неизменно переменчивые кости, все это – в тени здания, которое помогал строить и которое в итоге сделало его ненужным.

– Ты его разыщешь?

Борис покачал головой.

– Может быть. Да. Позже... – Он отпил из стакана, скривился, расплылся в ухмылке. – Арак. Я забыл этот вкус.

Мириам тоже улыбнулась. Они улыбались без причины и сожаления, и пока этого хватало.

В шалмане было тихо, осьминоид разлегся в своем ведре, прикрыв выпуклые глаза, еле слышно переговаривались, развалившись на стульях, грузчики. Иsobель сидела неподвижно, все еще затерявшись в виртуалье. Вдруг рядом возник Кранки. Мириам не видела, как он вошел, но у него, как и у всех детей Центральной, был талант появляться и исчезать. Мальчик увидел их улыбки – и стал улыбаться тоже.

Мириам взяла его за руку. Теплая.

– На улице не поиграешь, – пожаловался мальчик. Над его головой светился нимб: сквозь круглые капли воды в коротких колючих волосах прорывались радуги. – Снова дождь. – Он глядел на них с подозрением. – Вы чего улыбаетесь?

Мириам взглянула на мужчину, на Бориса, на чужака: когда-то он был тем, кого та, кем когда-то была она, любила.

– Наверное, просто дождь, – сказала она.

Два: Под навесами

Исобель смотрела, как они беседуют. Мама Джонс и странный высокий незнакомец, смутно кого-то напоминавший, будто дальний родственник, которого она видела издали и один раз, но разум Исобель был не здесь.

Увижу ли я его снова? Сердце барабанит быстрый чуждый ритм. Для Исобель это в новинку, ее словно раздирают заживо. В другой ее жизни все проще; в виртуалье она без труда перекраивает себя. Она видит: Мама Джонс смотрит на мужчину, так странно, можно подумать...

Но это же смешно. Можно подумать, у них любовь.

Любовь. От любви все так запутывается!

Исобель собрала вещи и ушла из шалмана. Увидит ли она его снова? Придет ли он? Проходя сквозь штору из бусин, она миновала Кранки и потрепала его по голове. Он серьезно смотрел на нее синими глазами. Она шагнула на улицу, и впереди выросла Центральная, невероятная и привычная; вокруг станции блестками на платье собирался дождь.

«Безумие», – решила она. И все-таки ее щеки пылали, и ей как бы нездоровилось, и голова шла кругом от предвосхищения.

Придет ли он?

– Встретимся завтра? – спросила Исобель Чоу.

Роботник Мотл стрельнул глазами направо и налево – слишком быстро. Исобель отступила на шаг.

– Завтра вечером. Под навесами.

Они перешептывались. Она набиралась храбрости. Подошла к нему. Положила руку ему на грудь. Его сердце стрекотало, она чувствовала это через металл. От Мотла пахло машинным маслом и потом.

– Иди, – сказал он. – Ты должна...

Слова умерли произнесенными. Его сердце трепыхалось в ее руке, будто цыпленок, испуганный и беспомощный. Вдруг она осознала свою власть. Ее это возбудило. Обладать властью над кем-то еще, вот так.

Его палец прокладывал путь по ее щеке. Горячий, металлический. Она вздрогнула. Вдруг кто увидит?

- Мне пора, - сказал он.

Его рука ее оставила. Он отстранился, и ее будто ударило.

- Завтра, - шепнула она. Он сказал:

- Под навесами, - и удалился быстрыми шагами из тени склада, в направлении моря.

Она посмотрела ему вслед и тоже выскользнула в ночь.

Ранним утром одинокая часовня св. Коэна Иных на лужайке на углу улицы Левински стоит оставленная, и никто не тревожит ее покой. Ползают по дорогам уборщики - всасывают пыль, разбрызгивают воду, скребут поверхности; низкий гул благодарности наполняет воздух, пока машины упиваются величайшей из задач, на краткий миг сдерживая энтропию.

У часовни преклонила колени одинокая фигура. Мириам Джонс, Мама Джонс из шалмана «У Мамы Джонс», с зажженной свечой подносит святому Коэну сломанную микросхему из древнего пульта ДУ для телевизора, бесполезную и устаревшую.

- Храни нас от Порчи, и от Червя, и от внимания Иных, - шептала Мама Джонс, - и дай нам смелости идти в этом мире собственным окольным путем, о святой Коэн.

Часовня хранила молчание. Впрочем, Мама Джонс и не рассчитывала на ответ.

Она неспешно выпрямилась. Колени уже не те, что прежде. Она не удосужилась поменять коленные чашечки. Она не удосужилась поменять большую часть

исходников. Гордиться тут нечем, но и стыдиться нечего. Мириам стоит, вбирая утренний воздух, радостный гул дорожно-уборочных машин, воображаемый свист высотной авиации, суборбиталей, сходящих с орбиты и планирующих, как парящие на ветру пауки, чтобы приземлиться на крыше Центральной.

Вчера был странный день, подумала она. Борис сказал: отпуск. Но она знала: что-то осталось невысказанным, есть некие обязательства, связи, есть обстоятельства.

Только думать обо всем этом она не хотела. Не сейчас.

Прохладное, свежее утро. Летний зной еще не навалился на землю, не задушил самый воздух. Мириам пошла прочь от часовни, ступила на лужайку: как же приятно ощутить траву под ногами! Она помнила траву своей молодости, когда другие такие же, как она, беженцы из Судана и Сомали пришли в эту чужую землю, пересекли пустыни и границы, ища подобия мира, и обнаружили, что здесь, в еврейском анклав, их не хотят, что они в изоляции. Она помнила, как отец каждое утро вставал, шел на лужайку и садился рядом с другими в тихом парализующем отчаянии. Они ждали. Ждали человека на пикапе, который приедет и предложит им стать чернорабочими, ждали автобуса агентства ООН – или, подчиняясь судьбе, спецподразделения «Оз» полиции Израиля, которое явится проверять документы, чтобы их арестовать и депортировать...

«Оз» на иврите – мощь. Но истинная мощь, думала Мириам, не в том, чтобы запугивать беспомощных людей, которым некуда больше идти. Она в том, чтобы выжить, как выжили ее родители, как выжила она – изучая иврит, работая, существуя скромно и тихо, пока прошлое становилось настоящим, а настоящее будущим, пока однажды здесь, на Центральной, только она и осталась – остальные разлетелись кто куда.

Ныне на лужайке спокойно, только одинокий работник сидит, прислонясь спиной к дереву, – то ли дремлет, то ли бодрствует. Дорожное движение оживляется, уборщики, разочарованно вереща, едут дальше. Маленькие автомобили, расправив крылья солнечных батарей, мчатся по шоссе. Солнечные батареи повсюду, на крышах и боках зданий: в самом солнечном месте бесплатную энергию старается умыкнуть любой. Тель-Авив. Мириам знает, что за городом трудятся солнечные фермы: на обширных равнинах батареи простираются до горизонта, жадно глотая лучи солнца и превращая их в энергию, которую скормливают потом центральным зарядным станциям по всему городу. Мириам

нравится батарейный пейзаж, к тому же это последний писк моды: в одежду самой Мамы Джонс вшиты крошечные солнечные панели, а ее широкополая шляпа ловит солнце по максимуму – и это стильно.

Покинув лужайку, она перешла дорогу. Мимо, по направлению к Центральной, проехала Исобель Чоу на велосипеде. Мама Джонс махнула рукой, но Исобель ее не заметила, и Мириам пожала плечами. Время открывать шалман, готовить кальяны, мешать напитки. Скоро придут посетители. На Центральной они не переводятся.

Исобель катила по улице Саламе, и ее велосипед был как бабочка: крылья врозь, сосут солнце, бормочут ей что-то счастливым сонным голосом, но принимает трансляцию сотен тысяч других голосов, каналов, музыки, языков, широкополосный нераспознаваемый токток Иных, прогнозы погоды, исповеди, запаздывавшие неземные радиостанции Лунопорта, и Тунъюня, и Пояса; Исобель наугад включалась и выключалась, летя сквозь глубокий и нескончаемый поток, что и был Разговором.

Ее омывали звуки и виды: фотографии дальнего космоса от одинокого паука, который врезался в ледяную глыбу в облаке Оорта и вгрызся в нее, чтобы конвертировать астероид в копии себя; повторный показ серии «Цепей сборки»; конголезская станция, передающая нуэво кваса-кваса; с севера Тель-Авива – токшоу «Как изучать Тору», на котором все успели переругаться; с обочины – внезапный и тревожный частый пинг: «Помогите, пожалуйста. Сделайте пожертвование. Работаю за запчасти».

Она притормозила. На обочине, на арабской стороне, стоял роботник. В скверном состоянии – огромные заплатки ржавчины, глаза нет, нога болтается как неживая; другой глаз, все еще человеческий, взирает на Исобель то ли с немой мольбой, то ли безразлично. Роботник вещает в широком диапазоне, механически, беспомощно; рядом на одеяле валяются кучка запчастей и почти пустая бензиновая канистра – солнечная энергия роботникам особо не помогает.

Нет, она не могла остановиться, не должна была. Ее переполняли дурные предчувствия. Она поехала дальше, постоянно оглядываясь: прохожие игнорируют роботника, будто его и нет, солнце восходит быстро, день вновь обещает быть жарким. Исобель разыскала нод несчастного, сделала маленькое

пожертвование, скорее облегчив жизнь себе, чем ему. Роботники, забытые солдаты забытых еврейских войн: механизированные, отправленные на фронт, а потом, когда войны кончились, брошенные как есть, оставленные перебиваться на улице, вымаливающие запчасти, чтобы пожить еще немного...

Исобель знала, что многие из них эмигрировали во внеземелье, улетели в марсианский Тунъюнь. Другие обосновались в Иерусалиме и жили на Русском подворье, которое стало их собственностью после долгой оккупации. Нищоброды. На таких мало кто обращает внимание.

И они очень стары. Некоторые сражались на войнах, не имевших теперь даже имен.

Она ехала прочь по Саламе, направляясь к станции. Сегодня вечером, думала она; и ее сердце солнечным парусом трепетало в предвкушении, в ожидании скорой свободы.

Плывя по течению дня, солнце взлетает за космопортом и чертит дугу над ним, прежде чем приземлиться наконец в море.

Исобель работает в громаде Центральной и обычно не видит солнца вовсе.

Зал ожидания Третьего Уровня предлагает ералаш закусовых, дронозон, игромирных сим-ульев и эмпориев «Луи У», накамелей и курилен, заведений для поклонников тру-плоти и виртуальной секс-индустрии, а также свой базар верований.

Исобель слышала, что крупнейший базар верований расположен в Тунъюнь-Сити на Марсе. Тот, который работает на Третьем Уровне, здесь, – средней руки: миссия церкви Робота, Горийский храм, Элронитский Центр Ускорения Рода Человеческого, храм Бахаи, мечеть, синагога, католическая церковь, армянская церковь, алтарь Огко и буддийский храм тхеравадинов.

По пути на работу Исобель зашла в церковь. Ее воспитали в католической вере – семья ее матери, китайские иммигранты с Филиппин, обратились в эту религию в иную эпоху, иное время. Но Исобель не находила утешения в безмолвном

спокойствию просторной церкви, запахе свечей, полумраке, раскрашенном стекле и горестном взгляде распятого Иисуса.

Церковь это запрещает, подумала она, вдруг устранившись. Покой церкви угнетал: воздух слишком застойный. Всякий предмет в помещении будто смотрел на нее, знал о ней. Она развернулась на каблуках.

Вышла и, не глядя, почти врезалась в брата Патчедела.

Р. Патчедел, сострадательно:

– Дочь, тебя колотит.

Она знает Р. Патчедела, хоть и не близко: этот робот был неотъемлемой частью Центральной станции (и космопорта, и окрестностей) всю ее жизнь и подрабатывал мозлем у горожан-евреев, когда у тех рождался мальчик.

– Я в порядке, правда, – сказала Исобель. Робот глядел на нее, его лицо ничего не выражало.

«Робот» на иврите – слово мужского рода. И по большей части роботы проектировались в стародавние времена без гениталий и груди, смутно мужественного вида. Они – своего рода ошибка. Никто не производит роботов уже очень давно. Они – недостающее звено, неловкий шаг эволюции от людей к Иным.

– Не желаешь чашечку чая? – спросил робот. – Возможно, пирожное? Сахар, мне говорили, помогает людям при стрессе. – Непонятным образом Р. Патчеделу удавалось изображать смущение.

– Я в порядке, правда, – повторила Исобель. И вдруг, импульсивно: – Вы верите в то, что... роботы могут... я имею в виду...

Она запнулась. Робот обратил к ней старое невыразительное лицо. По левой щеке, от глаза к краешку рта, бежал ржавый шрам.

– Ты можешь спросить меня о чем угодно, – сказал робот мягко. Интересно, голос какого мертвеца был использован, чтобы синтезировать звуки его голоса?

– Роботы способны любить?

Рот робота изогнулся. Возможно, это была улыбка.

– Мы только и способны, что любить.

– Как это может быть? Как вы можете... чувствовать?! – почти закричала она. Но кто обратит внимания на крик на Третьем Уровне?

– Мы антропоморфизированы, – ответил Р. Патчедел тихо. – Созданы по подобию человека, наделены телесностью, чувствами. Таково бремя железного дровосека. – В голосе слышится печаль. – Ты знаешь это стихотворение?

– Нет, – сказала Исобель. – А что насчет... насчет Иных?

Робот покачал головой:

– Кто может сказать? Для нас непредставимо существование чисто цифровой сущности, не знающей телесности. В то же время мы ищем избавления от нашего телесного существования, путь в рай, хотя и знаем, что рая нет, что его нужно построить, что мир следует отремонтировать и пропатчить... Но о чем ты в действительности меня спрашиваешь, Исобель, дочь Ирины?

– Не знаю, – прошептала она и поняла: у нее мокрое лицо. – Церковь... – Она чуть повернула голову, показывая на католическую церковь за спиной. Робот кивнул, будто и правда понял.

– В юности чувства сильны, – сказал он мягко. – Не бойся, Исобель. Позволь себе любить.

– Не знаю, – пробормотала Исобель. – Не знаю.

– Подожди...

Но она уже отвернулась от брата Патчедела. Сморгивая слезы – она не понимала, откуда они взялись, – она шла прочь; она опаздывала на работу.

Сегодня вечером, думала она. Вечером под навесами. Она вытерла слезы.

Сумерки окунают Центральную в долгожданную прохладу. В шалмане «У Мамы Джонс» зажглись свечи, в «Безымянном накамале» через улицу готовят вечернюю каву; сильный землистый запах – корни кавы чистят и крошат, клетчатку шинкуют, смешивают с водой и несколько раз отжимают, чтобы вышел весь экстракт, все кавалактоны, – напавает мощеную улицу, самое сердце района.

На лужайке роботники сгрудились вокруг костра, разведенного в перевернутой бочке. Пламя отражается на лицах, безыскусно сочетающих металлическое и человеческое: живучий лом забытых войн. Роботники говорят друг с другом на чудном языке, боевом идише, впечатанном в них благонамеренным армейским разработчиком, – кроме них этим тихим и тайным языком не владеет никто.

На Центральной пассажиры едят, пьют, играют, работают и ждут: лунные торговцы, марсианские китайцы, прилетевшие на Землю в турпоездку, евреи астероидных кибуцев Пояса – все это людское разношерстье перестало довольствоваться Землей, но по-прежнему считало ее за центр вселенной, вокруг которого вертятся все планеты, луны и поселения; аристотелевская модель мира побила временно одолевшего ее Коперника. На Третьем Уровне Исобель загрузилась в рабочий сим, существуя одновременно, как кот Шрёдингера, в физическом пространстве и равно реальном виртуалье вселенной Гильдий Ашкелона, где...

Она и правда Исобель Чоу, капитан «Девятихвостой кошки» – построенного тысячи лет назад космолета, проходившего апгрейд и редизайн каждый Вселенский Цикл; как капитан и командующий спасательной операцией она, Исобель, охотится за драгоценными артефактами геймерского мира, чтобы продать их на Бирже...

Она кружит по орбите Черной Бетти – в этой сингулярности вселенной Гильдий Ашкелона вымершие инопланетяне оставили загадочные руины, дрейфующие в космосе на обломках скал, лишенных атмосферы астероидах некогда великой

галактической империи...

Успех там означает пищу, воду и аренду здесь...

Но что такое «здесь», что такое «там»...

Исобель шрёдила в реале и виртуалье – или в ГиАш и мире, называемом «вселенная-1», – и работала.

На Центральную пала ночь. На улицах вокруг нее загорелись огоньки: летающие сферы празднично мерцают во тьме. Ночью Центральная оживает...

Флористы собирают товар на привольно раскинувшемся рынке; мальчик Кранки играет сам с собой, разбросав вокруг стебли и увядающие темные лунные розы, выращенные на гидропонике, и все стараются держаться от него подальше, мальчик странный...

Вокруг клокочет астероид-пиджин, Кранки продолжает игру: перед ним взлетают и пляшут стебли, бутоны черных роз раскрываются и закрываются в беззвучном, неискusstном танце. Мальчик владеет накаймас, черной магией, он поражен квантовым проклятием. Мимо Кранки течет Разговор, торговцы отпирают и запирают лавки на ночь, рынок меняет лица, ни на миг не утихая, люди спят под стойками и обедают, забегаловки источают аромат: жареная рыба, чили в уксусе, поджаренные соя и чеснок, тмин, куркума и пурпурный молотый сумак, названный так за свой багрянец. Мальчик играет, все мальчики играют. Цветы танцуют – безгласно.

– Ю стап го вэа? Куда ты идешь?

– Ми стап го бак хаос. Я иду домой.

– Ю но савэ стап смолтаэм, дринг смолсмол биа? Не хочешь по пиву?

Смех. Потом...

– Си, ми савэ стап смолтаэм. Да, я не прочь.

Играет музыка – на множестве фидов и живая тоже: юная катой, бэкпекер из Таиланда, поет под старую акустическую гитару, чуть поодаль осьминоид бьет по разнообразным тамтамам, добавляя дисторшн в реальном времени и в трансляции: неброский голосок, вплетающий себя в сложный и нескончаемый паттерн Разговора.

– Ми лафэм ю!

– Авво, ю дронг!

Смех, «Я люблю тебя!» – «Ты пьян!» – поцелуй, двое мужчин уходят, взявшись за руки...

– Ван дэй ми го лонг спэс, баэ ми го луклук олбаот лонг ол стар.

– Ю кранки вви!

«Однажды я полечу в космос и побываю на всех планетах!» – «Ты безумец!»

Смех, и кто-то выпадает из виртуалья, продирая сонные глаза, реадаптируясь, кто-то поворачивает рыбу на гриле, кто-то зевает, кто-то улыбается, начинается драка, встречаются любовники, луна встает на горизонте, тени движущихся пауков мерцают на ее поверхности.

Под навесами. Под навесами. Где всегда сухо и всегда темно, под навесами.

Там, под навесами Центральной, по периметру гигантского сооружения располагается буферная зона, сито, отделяющее космопорт от городских кварталов. На Центральной можно купить что угодно, а то, чего не купишь там, можно найти здесь, под навесами.

Исобель закончила работу, ей нужно выйти обратно во вселенную-1, оставить капитанство, корабль и экипаж, выбраться из сима и встать на ноги; ревет кровь в ушах, стоило коснуться запястья, как Исобель ощущает, что кровь пульсирует и там тоже, а сердце хочет того, чего хочет, напоминая нам, что мы люди, мы

хрупки, мы слабы.

Она миновала служебный туннель между этажами и вышла на северо-восточном углу порта, к улице Кибуц-Галуйот и старинной развилке.

Там было тихо и темно: пара магазинчиков, некошерная лавка, торгующая свининой, переплетная мастерская и складские помещения, давным-давно заброшенные, превращенные в звукоизолированные клубы, геноклиники и синт-эмпории. Она ждала в тени порта, обнимая стены, они казались теплыми, а станция всегда казалась ей живой, сексуальной, станция была как сердце, как бьющееся сердце. Исобель ждала, ее ног-имплант сканировал незваных гостей: цифровые подписи, тепло, еще движение – Исобель была девчонкой с Центральной, она могла о себе позаботиться, у нее имелся нож, она хранила бдительность, но теней не боялась.

Она ждала, ждала его прихода.

– Ты ждала.

Она прижалась к нему. Он был теплым, она не понимала, где у него заканчивается металл и начинается органика.

Он сказал: «Ты пришла», – и в его словах было удивление.

– Я должна была. Увидеть тебя снова.

– Мне было страшно. – Он говорил негромко, шепотом. Его рука на ее щеке; она повернула голову, поцеловала его плоть; ржавчина вкуса крови.

– Мы нищие, – сказал он. – Такие как я. Мы сломанные машины.

Она смотрела на него, старого брошенного солдата. Она знала, что некогда он умер, его переделали, разум человека киборгировали в чуждое тело, послали воевать – и умирать, снова и снова. Что теперь он живет на железном ломе, зависит от чужой милости...

Роботник. Древнее слово, означавшее рабочего.

Но изреченное как проклятие.

Она посмотрела ему в глаза. Почти человеческие.

– Я не помню, – сказал он. – Я не помню, кем я был – прежде.

– Но ты же... ты все еще... ты жив! – сказала она, будто вдруг добралась до истины, и засмеялась, пьяная от смеха и счастья, а он подался вперед и стал целовать ее, сначала мягко, потом сильнее, общее влечение слило их воедино, соединило – почти как человека в связке с Иным.

На своем странном, всеми забытом боевом идише он сказал:

– Их либа дих.

Она ответила на астероид-пиджине:

– Ми лафэм ю.

Его палец на ее щеке, горячий, металлический, его запах машинного масла, бензина и человеческого пота. Она притянула его к себе, чуя спиной стену Центральной станции, в сгустке теней, а где-то высоко-высоко, украшенный светом, летел, снижаясь, самолет из дальнего далёка.

Три: Запах апельсиновых роц

Где-то высоко-высоко, на крыше, очнулся Борис. Кажется, он видел под навесами станции две украдкой расходящиеся фигурки, но мыслями Борис был далеко.

Странно вот так столкнуться с Мириам; она изменилась, но и не изменилась тоже. Наверняка она знает, почему он вернулся, но молчит, оставляя его наедине с тайной печалью.

Солнечные батареи на крыше сложены, как оригами, они еще спят, но уже беспокойно шевелятся, словно предчувствуя неизбежное явление солнца. Обитатели здания, соседи отца Бориса, на протяжении многих лет сажали здесь самые разные растения в горшках из глины, алюминия, дерева, превращая крышу в высотный тропический сад.

Здесь, наверху, тихо и пока что прохладно. Борису нравился аромат поздно зацветшего жасмина, вьющийся по стенам, настойчиво забирающийся все выше, распространяющийся по старым районам, окружавшим Центральную. Борис глубоко вдыхает ночной воздух – и выдыхает медленно, сбивчиво, наблюдая за огнями космопорта, за движущимися звездами, оставляющими в небесах драгоценные инверсионные следы.

Он любил запах этого места, этого города. Запах моря на западе, дикое амбре соли и открытых вод, водорослей и гудрона, масла для загара и людей. Он любил запах холодного очищенного воздуха, сочащегося из окон, и базилика, когда трешь его между пальцами, любил запах шаурмы, поднимающийся с улицы, и пьянящую смесь специй, любил запах исчезнувших апельсиновых рощ далеко за городскими кварталами Тель-Авива и Яффы.

Когда-то тут были сплошь апельсиновые рощи. Борис вглядывался в старинные дома, облупившуюся краску, многоквартирные коробки старомодной советской архитектуры в оцеплении роскошных баухаусных построек начала XX века, зданий, которые строили похожими на корабли: длинные искривленные грациозные балконы, маленькие круглые окна, плоские крыши-палубы вроде той, на которой он сейчас стоял...

Между старыми зданиями затесались более новые постройки, кооп-дома в марсианском стиле, внутри – спускные желобы для лифтов и комнатки, разделенные множеством перегородок, многие даже без окон...

Постиранное белье висит, как и сотни лет назад, на сушилках и подоконниках: выцветшие кофты и шорты слегка развеваются на ветру. Внизу качаются, будто на волнах, уличные фонарики, уже гаснущие, и Борис осознает, что ночь улетучивается; он видит розово-красный отблеск над лезвием горизонта и понимает, что восходит солнце.

Всю ночь он сидел у постели отца. Влад Чонг, сын Вэйвэя Чжуна (Чжун Вэйвэй, если на китайский манер) и Юлии Чонг, урожденной Рабинович. По семейной традиции Бориса тоже нарекли русским именем. По другой семейной традиции ему дали и второе, еврейское имя. Подумав об этом, он криво улыбнулся. Борис Ахарон Чонг: наследие и груз трех сошедшихся древних культур тяжело давили на его худые, уже не юные плечи.

Ночь выдалась тяжелой.

Когда-то тут были сплошь апельсиновые рощи... Он сделал глубокий вдох: запах старого асфальта и выхлопных газов сгинул, как апельсины, но все еще жил внутри – аромат памяти.

Борис пробовал оставить ее в прошлом. Память семьи, то, что иногда называли проклятием семьи Чонг; то, что звали Вэйвэевым Безумием.

Он обо всем этом помнил. Естественно. В день столь далекий, что самого Бориса Ахарона Чонга не было еще и в проекте, когда его Я-контур даже не сформировался...

Дело было в Яффе, в Старом городе на вершине холма, над бухтой. В доме Иных.

Чжун Вэйвэй гнал велосипед вверх по склону, было жарко, и он весь промок. Вэйвэй не доверял извилистым улочкам и самого Старого города, и Аджами, района, который наконец-то возродил свои достопримечательности во всей красе. Вэйвэй понимал конфликты этих мест слишком хорошо. Арабы и евреи хотят одну и ту же землю – и за нее борются. Вэйвэй понимал, что такое земля и почему люди готовы за нее умереть.

Но знал он и то, что концепция земли изменилась. Что земля теперь не столько материя, сколько сознание. Не так давно Вэйвэй вложил в целую планетную систему в игром мире Гильдий Ашкелона. Вскоре у Вэйвэя появятся дети – Юлия уже на третьем триместре, – потом пойдут внуки, потом правнуки, и так далее, поколение за поколением, и все они будут помнить Вэйвэя, своего предка. Они будут благодарны ему за то, что он сделал, за недвижимость и реальную, и виртуальную, и еще за то, что он надеялся завершить сегодня.

Он, Чжун Вэйвэй, породит династию – здесь, в разделенной стране. Потому что он понял самое главное: он один видел значимость этого чужеродного анклава, Центральной станции. Евреи на севере (его дети тоже будут евреями – странная и беспокойная мысль), арабы на юге, они вернулись, заявили права на Аджаму и Менашию, они строят Новую Яффу, город, возносящийся в небо сталью, камнем и стеклом. Разделенные города, вроде Акко и Хайфы, на севере, – и новые города, проросшие в пустыне, в песках Негева и Аравы.

Араб или еврей – они нуждаются в иммигрантах, в иностранной рабочей силе с Филиппин, из Таиланда, Китая, Сомали, Нигерии. И им нужен буфер, нейтральная полоса, которой и стала Центральная станция, старый Южный Тель-Авив, место бедное, живое, но прежде всего словно бы не существующее.

Пограничный город.

Здесь и будет жить Вэйвэй. Он, и его дети, и дети его детей. Евреи и арабы, по крайней мере, знают, что такое семья. В этом они походят на китайцев и отличаются от англо с их нуклеарными семьями и натянутыми отношениями, живущих порознь, поодиночке... Такого, поклялся Вэйвэй, с его детьми не случится.

На вершине холма он остановился и вытер пот со лба матерчатым носовым платком, который носил для этих целей. Мимо проезжали машины, повсюду шумело строительство. Вэйвэй сам работал на одном из возводимых здесь зданий в диаспорной бригаде: крохотные вьетнамцы, высоченные нигерийцы и бледные крепыши-трансильванцы общались, используя жесты, астероид-пиджин (хотя он в те времена не успел широко распространиться) и автоматические переводчики в нодах. Вэйвэй трудился в экзоскелетном костюме: карабкался, цепляясь паучьими захватами, на башенные блоки, рассматривал город далеко внизу, глядел на море и далекие корабли...

Но сегодня у него выходной. Он копил деньги – часть каждый месяц отсылал родне в Чэнду, часть откладывал на семью, которая скоро разрастется. Остальное он отдаст сегодня – за услугу, о которой попросит у Иных.

Аккуратно сложив и убрав платок, Вэйвэй пошел, толкая велосипед, в лабиринт закоулков, который и был Старым городом Яффы. Развалины старинного египетского форта, его ворота, обновленные столетие назад; в тени стен так и

висит на цепях апельсиновое дерево, посаженное в гигантской каменной корзине в форме яйца, – арт-инсталляция. Вэйвэй не останавливался, пока не пришел наконец туда, где жил Оракул.

Борис глядит на восход солнца. Он выжат как лимон. Он провел рядом с отцом всю ночь. Его отца, Влада, постоянно мучит бессонница. Он сидит часы напролет в кресле – потертом, дырявом, с большими трудами и гордостью притащенном однажды, много лет назад (Борис помнит это предельно ясно), с блошиного рынка Яффы. Руки Влада двигаются, переставляя в воздухе невидимые предметы. Он не дает Борису доступа к визуал-каналу. Он почти перестал общаться с внешним миром. Борис подозревает, что предметы – это воспоминания, что Влад пытается хоть как-то вернуть их на место.

Но точно он не знает.

Как и Вэйвэй, Влад был рабочим на стройке. Одним из тех, кто возвел Центральную станцию, забирался на самый верх гигантской незаконченной структуры, космопорта, ныне ставшего царством в себе, мини-страной магазинов, на которую уже не могли предъявить полное право ни Яффа, ни Тель-Авив.

Но все это было давно. Теперь люди живут дольше, только мозги у них стареют с прежней скоростью, и мозг Влада – старше его тела. Борис – на крыше – идет к двери в углу. Дверь затенена миниатюрной пальмой; между тем солнечные батареи принимаются раскрываться, расправляют изящные крылья, чтобы поймать побольше восходящего солнца и дать растениям тень и убежище.

Давным-давно квартирное товарищество поставило здесь общий стол и самовар – и каждую неделю одной из квартир вменяется в обязанность приносить чай, кофе и сахар. Борис аккуратно срывает пару листочков с мяты в горшке и кипятит чай. Шум кипятка, льющегося в кружку, успокаивает; оглушающе свежо пахнет мятой, и Борис наконец просыпается. Он ждет, пока мята заварится, берет кружку с собой на край крыши. Смотрит вниз: Центральная станция – на деле она никогда не спит – громко пробуждается.

Отхлебнув чаю, он думает об Оракуле.

Некогда Оракула звали Коэн, и, по слухам, она приходилась родственницей святому Коэну Иных, хотя доказать это никто и не мог. Сегодня об этом почти все забыли. Три поколения жила она в Старом городе, в темном, тихом каменном доме – вместе со своим Иным.

Имя Иного и его личный тэг были неизвестны, что с Иными бывало нередко.

Была Оракул потомком святого Коэна или нет, перед каменным домом стояла его часовенка. Скромная, на алтаре – золотистые безделушки, старые, сломанные микросхемы и тому подобное, и еще свечи, горевшие в любое время дня и ночи. Вэйвэй, подойдя к двери, на миг замер перед часовней, зажег свечу, положил приношение – давным-давно вышедший из употребления компьютерный чип, приобретенный за большие деньги на блошином рынке под холмом.

Помоги мне сегодня достичь цели, мысленно попросил Вэйвэй, помоги сплотить мою семью и позволь мне расшарить для них мое сознание, когда я умру.

В Старом городе не было ветра, но древние каменные стены источали отрадную прохладу. Вэйвэй, только недавно установивший нод, послал пинг двери, и через секунду та открылась. Он шагнул внутрь.

Борис помнит неподвижность и в то же время – парадоксально – смещение, внезапную необъяснимую перемену перспективы. Воспоминания деда лучатся в его сознании. Вэйвэй, как бы он ни храбрился, был первопроходцем в незнакомой стране, он продвигался на ощупь, на инстинкте. Он не вырос с нодом; ему было сложно следить за Разговором, бесконечной болтовней людских и машинных фидов, без которых современный человек глух и нем; и все-таки Вэйвэй был из тех, кто ощущает будущее инстинктивно, так, как куколка ощущает взросление. Он знал, что его дети будут другими, а их дети будут отличаться уже и от них, но знал он и то, что нет будущего без прошлого...

– Чжун Вэйвэй, – сказала Оракул. Вэйвэй поклонился.

Оракул была на удивление молода, или просто очень молодо выглядела. Короткие черные волосы, непримечательное лицо, бледная кожа – и золотой протез вместо большого пальца. Вэйвэй тревожно содрогнулся – это был ее Иной.

– Я ищу милости, – сказал Вэйвэй. Поколебавшись, он протянул ей маленькую коробку. – Шоколадные конфеты.

И тут – или у него разыгралось воображение? – Оракул улыбнулась.

В комнате было тихо. Он не сразу осознал, что Разговор прекратился. Оракул взяла коробку и открыла ее, тщательно выбрала конфету, положила в рот. Задумчиво пожевала, в знак одобрения склонила голову. Вэйвэй поклонился вновь.

– Прошу, – сказала Оракул. – Садись.

Вэйвэй сел. Кресло с подголовником, старое и потертое – с блошиного рынка, решил он, и ему сделалось не по себе: неужели Оракул покупает что-то в лавках, почти как если бы была человеком? Но, конечно, она и была человеком. Почему-то от этой мысли легче не стало.

Затем глаза Оракула слегка изменили цвет, и ее голос, когда она заговорила, был другим, грубее, чуть ниже, чем раньше, и Вэйвэй опять сглотнул.

– О чем ты желаешь просить нас, Чжун Вэйвэй?

Это говорил уже ее Иной. Тот самый Иной, напарником едущий на человеческом теле, Соединенный с Оракулом квантовыми процессорами внутри золотого пальца... Собравшись с духом, Вэйвэй сказал:

– Я ищу мост.

Оракул кивнула, повелевая продолжать.

– Мост между прошлым и будущим, – продолжил Вэйвэй. – Непрерывность.

– Бессмертие, – повторил Иной и вздохнул. Рука поднялась, почесала подбородок, золотой палец скреб бледную кожу женщины. – Все, чего хотят люди, – бессмертие.

Вэйвэй покачал головой, хотя отрицать сказанное не мог. Его страшила идея смерти и умирания. Он знал: ему недостает веры. Многие во что-то верили, вера давала человечеству возможность идти вперед. Перевоплощение, или посмертие, или мифическая Загрузка, иначе называемая Трансляцией, – все едино, все требует веры, которой он не обладал, как бы его это ни тяготило. Он знал: когда он умрет, все кончится. Я-контур с личным тэгом Чжуна Вэйвэя прекратит существовать, просто и бесцельно, а вселенная продолжится, как продолжалась всегда. Ужасно размышлять о таком – о собственной незначительности. Ибо Я-контуров людей есть фокальная точка вселенной, объект, вокруг которого вертится все остальное. Реальность субъективна. И все-таки это иллюзия, так же, как «я», личность человека, композитная машина, составленная из миллиардов нейронов, хрупких сетей, полунезависимо функционирующих в серой материи мозга. Машины усиливают мозг, но не могут сохранить его – не навсегда. Поэтому: да, подумал Вэйвэй. То, чего он ищет, он ищет тщетно, но и практично. Он сделал глубокий вдох и сказал:

– Я хочу, чтобы мои дети меня помнили.

Борис смотрит на Центральную. За космопортом уже поднимается солнце, внизу выдвигаются на позиции роботники, разворачивая одеяла и кустарные рукописные плакаты с просьбами пожертвовать запчасти, бензин или водку.

Борис видит брата Р. Патчедела из церкви Робота, совершающего обход: церковь старается заботиться о роботниках так же, как заботится о своей скромной людской пастве. Роботы – удивительное недостающее звено между человеком и Иным, не приспособленное к обоим мирам: цифровые создания, ограниченные телесностью, физической материей; многие из них отказались от Загрузки ради собственной причудливой веры... Борис помнил брата Патчедела с детства – робот делал обрезание и самому Борису, и его отцу. Вопрос «кто такие евреи?» задавался применительно не только к семейству Чонг, но и к роботам, и ответ на него был дан давным-давно. По материнской линии Борису передались фрагменты памяти о том, что было до Вэйвэя: протесты в Иерусалиме, лаборатории Мэтта Коэна и первое, примитивное Нерестилище, в котором цифровые развивались безжалостными эволюционными циклами...

...Плакаты, которыми потрясает на улице Короля Георга массовая демонстрация: «Рабству – нет!», «Уничтожим концлагерь!» и так далее: разъяренная толпа, пришедшая сюда, чтобы протестовать против кажущегося порабощения первых хрупких Иных в их замкнутых сетях; лабы Мэтта Коэна в осаде; его разношерстный коллектив ученых изгонялся то из одной страны, то из другой – и осел, в конце концов, в Иерусалиме...

Святой Коэн Иных – так зовут его теперь. Борис подносит кружку к губам и обнаруживает, что она пуста. Он ставит кружку на столик, трет глаза. Надо выспаться. Он уже немолод, двое или трое суток без сна, на стимуляторах и беспокойной энергии юности – не для него. Дни, когда они с Мириам прятались на этой крыше, сжимали друг друга в объятиях, обещали то, чего, как они знали, не смогут сделать...

Теперь он думает о ней, пытается разглядеть ее внизу, увидеть, как она шагает по мостовой к шалману. Думать о ней трудно, трудно томиться, как... как мальчишка. Он вернулся не из-за нее, но где-то на задворках сознания наверняка...

На шее безмятежно дышит ауг. Борис обрел его в Тунъюнь-Сити на задах авеню Арафат в подпольной безымянной клинике; вживлял ауга ее владелец, марсианский китаец третьего поколения мистер Вонг.

Говорят, аугов создали из окаменевших останков марсианских микробактериальных форм жизни, но правда это или нет – неизвестно. Обрести ауга странно. Паразит питается через Бориса, мягко пульсирует на шее, он – часть хозяина: еще одно внешнее устройство, кормящее его чужеродными мыслями, чужеродными чувствами, вбирающее взамен человеческое мировидение и вкрадчиво его смещающее – как если бы твои идеи проходили сквозь фильтр калейдоскопа.

Борис кладет руку на ауг и ощущает теплую, на удивление шершавую поверхность. Ауг, ровно дыша, шевелится под пальцами. Иногда он синтезирует странные вещества, которые действуют на Бориса как наркотики и застают его врасплох. Иногда он меняет визуальное восприятие, а то и сообщается с нодом, цифросетевым компонентом мозга, имплантированным сразу после рождения; жизнь без нода хуже слепоты и глухоты – такие люди отсоединены от Разговора.

Борис знает: тогда он хотел сбежать. Он покинул родной дом, отказался от памяти Вэйвэя, ну или пытался – на время. Отправился на Центральную, доехал на лифтах до самого верха – и не остановился. Улетел с Земли, за ее орбиту, добрался до Марса и Пояса, до Верхних Верхов, но воспоминания преследовали его – мост Вэйвэя, навсегда соединивший будущее с прошлым...

– Я хочу, чтоб моя память жила, когда меня не будет.

– Этого хотят все люди, – сказал Иной.

– Я хочу... – Вэйвэй собрался с духом и продолжил: – Я хочу, чтобы моя семья помнила... Училась на прошлом, планировала будущее. Я хочу, чтобы мои воспоминания перешли к детям, а их воспоминания, в свой черед, перешли к их детям. Я хочу, чтобы мои внуки, и их внуки, и все мои потомки в будущем помнили этот момент.

– Так и будет, – сказал Иной.

Так и было, думает Борис. Яркое воспоминание, будто застывшее в капле росы, совершенное и неизменяемое. Вэйвэй получил то, чего просил, и его память теперь – память Бориса, а также Влада, бабушки Юлии, матери Бориса и остальных: двоюродные сестры и братья, племянницы и дядья, племянники и тети – все они делили центральный резервуар памяти семьи Чонг, каждый мог в любой миг погрузиться в глубины этого водоема воспоминаний, этого океана прошлого.

«Вэйвэево Безумие!» – так говорили в семье. Порой оно проявлялось странным образом: даже далеко от Земли, когда Борис работал в родильных клиниках Цереры или прогуливался по авеню марсианского Тунъюнь-Сити, в его голове вдруг формировалось воспоминание – новое воспоминание: как двоюродная сестра Оксана давала жизнь первенцу, крошке Яну, – переплетение боли и радости с беспорядочными мыслями (покормлен ли пес?), голос акушерки: «Тужься! Тужься!» – запах пота, пиканье мониторов, еле слышные разговоры за дверью, неопишное чувство, когда из тебя медленно выныривает младенец...

Борис понимает, что держит кружку, и снова ставит ее на столик. Внизу Центральная уже проснулась, торговцы выложили на лотки свежие продукты,

голосит на тысячи ладов рынок, пахнет дымом и курятиной, неспешно жарящейся на гриле, кричат дети по пути в школу...

Борис думает о Мириам: как они любили друг друга, когда мир был молод, любили на иврите, языке их детства, как потом разлучились, и виной тому был не потоп войны, но обычная жизнь и то, что она с нами всеми делает. Борис трудился какое-то время в родильных клиниках Центральной, но там было слишком много воспоминаний, почти призраков, и он взбунтовался, отправился в космопорт, а оттуда на орбиту, в место, называемое Вратами, а оттуда – для начала – в Лунопорт.

Он был молод и хотел приключений. Он пытался убежать. Лунопорт, Церера, Тунъюнь... Но память гналась за ним по пятам, и хуже всего были воспоминания отца. Они следовали за ним сквозь стрекот Разговора: сжатая память, со скоростью света скачущая по космосу от одного Зеркала к другому, так что семья помнила Бориса здесь, на Земле, а он помнил семью там, и в итоге бремя сделалось таким, что он вернулся.

Это случилось во время очередного прилета в Лунопорт. Борис чистил зубы и смотрел на свое лицо – не юное, не старое, более-менее обычное, глаза китайские, скулы славянские, волосы стали тоньше... и тут память напала на него, заполнила его, и он выронил зубную щетку.

Память не отца, но племянника, Яна, и недавняя: Влад сидит в кресле в своей квартире, постаревший, усохший, и что-то, что причиняло Яну смутные страдания, сквозь пустоту больно ударило Бориса в грудь... Затуманенный взгляд отца. Влад сидел, не говоря ни слова, он не узнавал ни племянника, ни остальных, тех, кто пришел его проведать.

Он сидел, и его руки не переставали двигаться, переставляя невидимые предметы.

– Борис!

– Ян.

Племянник робко улыбался.

– Я думал, ты – легенда.

Запаздывание, полет с Земли на Луну и обратно, нод к ноду.

– Ты совсем взрослый.

– Ну да...

Ян работал на Центральной. Лаба на Пятом Уровне, производство вирусной рекламы, микроскопических агентов, которые по воздуху передаются от человека к человеку и в замкнутой системе кондиционирования вроде Центральной процветают; каждый вирусный агент закодирован на передачу персональных предложений – органика взаимодействует с нодом, убеждая: «Купи! Купи! Купи!» Ян встречался с мальчиком, Юссу, но сейчас у них что-то не клеилось.

– Твой отец...

– Что случилось?

– Мы не понимаем.

Эти слова дались Яну не без боли. Борис ждал; по маршруту Земля – Луна и обратно полосу прозрачности пожирало молчание.

– Вы возили его к врачам?

– А ты как думаешь?

– И?

– Они тоже не понимают.

Молчание между ними; молчание мчится по космосу со скоростью света.

– Возвращайся, Борис, – сказал Ян, и Борис изумился тому, как мальчик повзрослел, каким он стал мужчиной, чужаком, которого Борис не знает – и жизнь которого он столь ясно помнит.

Возвращайся.

В тот же день Борис собрал скудные пожитки, освободил номер в отеле «Весы» на бульваре Армстронга, сел в шаттл до лунной орбиты, пересел на корабль до Врат и, наконец, слетел на Центральную станцию.

Память как разрастающийся рак. Борис – врач, он видит собственный Мост Вэйвэя – странную полуорганическую опухоль, которая вплетает себя в кору головного мозга и серое вещество Чонгов, сообщается с их нодами, прорастает причудливыми тонкими спиралями чуждой материи – эволюционировавшая технология, ферботен, Иная. Она опутала мозг отца, то и дело выходя из-под контроля, она росла, точно рак, и Влад не мог двигаться из-за своих воспоминаний.

Борис подозревает это, но не знает точно – как не знает, чем расплатился Вэйвэй за милость, какую ужасную цену с него требовали – воспоминание об этом, единственное из всех, стерто: только Иной, говорящий: «Так и будет», – а через миг Вэйвэй стоит на улице, перед закрытой дверью, и моргает, глядя на древние каменные стены и спрашивая себя, получил ли он то, чего хотел.

Когда-то тут были сплошь апельсиновые рощи... Он помнил, что подумал это по прибытии, уже на Земле, когда выходил из дверей Центральной в жаркий влажный воздух, будучи сбит с толку дискомфортной гравитацией. Стоя под навесами, он втянул носом воздух; гравитация тянула вниз, но Борису было все равно. Запах остался тем же, памятным, и апельсины, исчезли они или нет, были здесь, знаменитые апельсины Яффы, которые росли, когда не было ни Тель-Авива, ни Центральной станции – одни апельсиновые рощи, и песок, и море...

Борис перешел через дорогу, ноги вели его сами, у них была своя память о том, как переходить дорогу от больших дверей Центральной к пешеходной улочке, к сердцу старого района, который оказался таким маленьким, в детстве это был целый мир, а теперь он съезжился...

Людская толчея, жужжат на дороге солнечные тук-туки, разевают рты туристы, проверяет фид-статистику мнемонистка, транслируя все, что видит, осязает и обоняет, в сетевые каналы, запечатлевая Бориса, переправляя его образ миллионам равнодушных зрителей по всей Солнечной системе...

Щипачи, скучающий охранник УС-безопасности глядит по сторонам, работник без глаза и со скверными пятнами ржавчины на груди просит милостыню, потеющие в жару мормоны в темных костюмах раздают буклеты, через дорогу тем же заняты элрониты...

Накрапывает дождик.

С ближайшего рынка доносятся призывы торговцев, обещающих свежайшие гранаты, дыни, виноград, бананы, в кафе впереди старики играют в нарды... Посреди хаоса медленно бредет Р. Патчедел, робот в оазисе спокойствия, во тьме-тьмущей шумных, потных людей...

Борис смотрел, нюхал, слушал, запоминал так энергично, что поначалу не видел их – женщину и ребенка на той стороне улицы, – и чуть было с ними не столкнулся...

Мириам – и мальчик.

Теперь он хочет пойти к ней. Мир проснулся, и одинокий Борис стоит на крыше старого квартирному дома, одинокий и свободный, не считая воспоминаний. Он смотрит на старого альте-захена, Ибрагима, который едет внизу на телеге; его называют Властелином Ненужного Старья; и Борис удивляется тому, что старик еще не отошел в мир иной. Рядом с Ибрагимом сидит мальчик, похожий на Кранки. Терпеливая кобыла тащит телегу по дороге, и Борис глядит на них до тех пор, пока телега не скрывается из виду.

Он не знает, что делать с отцом. Он вспоминает, как держал его за руку, когда был маленький и Влад казался таким огромным, таким уверенным в себе и полным жизни. Они идут на пляж, стоит лето, в Менашии перемешались евреи, арабы и филиппинцы, мусульманки в длинных темных одеждах и дети, которые с визгом носятся по улицам в одних трусах; тель-авивские девушки, безмятежно

загорающие в узеньких бикини; кто-то курит косяк, и резкое амбре струится в морском воздухе; Ибрагим, альте-захен, он тоже здесь, переходит улицу вместе с кобылой (совсем другой); спасатель на вышке выкрикивает на трех языках инструкции: «За буйки не заплывать! Чей бесхозный ребенок? Пожалуйста, подойдите к спасательной вышке срочно! Люди на лодке, плывите в направлении тель-авивской марины и держитесь в стороне от зоны плавания!» – слова тонут в гомоне, кто-то припарковал машину и врубил на всю катушку стерео, сомалийские беженцы готовят барбекю на лужайке променада, белый парень с дредами играет на гитаре; Влад ведет Бориса за руку в воду, великан, который всегда рядом, так что Борис знает, что ничего плохого никогда не случится: что бы там ни было, отец защитит его всегда.

Четыре: Властелин Ненужного Старья

Тогда в Яффе и на Центральной станции еще жили люди, прозванные альте-захен, они жили там всегда, и первым из них был Ибрагим по прозвищу Властелин Ненужного Старья.

Тогда в Яффе еще жили люди, прозванные альте-захен. Бродячие старьевщики, частью евреи, частью арабы, частью еще кто-то. Это случилось вскоре после Убийства Мессии, о котором вы точно слышали, о котором историк Элезра (между прочим, предок Мириам Элезры, которая с автоматом Голды Меир отправилась на Марс-Каким-Он-Не-Был и изменила орбиту планеты) написал: «То было время горячности и неопределенности, время ненависти и мира, когда появление и последующая казнь мессии стали почти случайностью».

Вы наверняка приближались к нему тысячу раз. Он появляется на заднем плане – всегда на заднем плане – туристических фотографий и бесчисленных фидов. Сначала телега: плоская панель на четырех колесах древней освобожденной машины. На автомобильных кладбищах Яффы множился транспорт эры внутреннего сгорания: автомобильные башни образовали свалочный городок, в котором укрываются местные неудачники. Телегу тащат одна или две лошади, выведенные и родившиеся в городе: разномастные кобылы, серая и белая, палестинские, смешанной породы, дальние родственницы благородных арабских скакунов. Маленькие, сильные и терпеливые, они волокут повозку, переполненную сломанными вещами, ничуть

не жалуясь, а по выходным, нарядившись в колокольчики и разноцветные попоны, за деньги катают малышей по приморскому променаду.

У альте-захенов, как во время оно у древних портовых грузчиков, есть лиджана, тайный совет правителей, – легион, избранный за потрепанность годами и опытом, – и самым видным членом лиджаны является как раз Ибрагим.

Кто он, Ибрагим, – и как он попал в город Яффу у голубых искристых вод Средиземного моря?

По правде говоря, никто не знает. Он был здесь всегда. Король старья былого и грядущего. Ходили слухи, что он – Иной и родня Оракула с холма; ведь Ибрагим тоже Соединен, его большой палец – золотой протез, Иной, ввитый в ногу; человеческое и цифровое сознание слиты воедино. Никто не знает, как зовут Иного. Очень может быть, что оба они Ибрагимы.

Его маршрут почти неизменен. По узким проулочкам древнего Аджами, мимо каменных домов, что глядят свысока на море и бухту, прочь от новых репатриантских высоток; вниз по холму к старинной часовой башне, по улице Саламе идет он, непрерывно выкрикивая:

– Альте-захен! Альте-захен!

Горка старья на телеге растет. Отвергнутый мусор веков. Люди поджидают Ибрагима. Рваные пятнистые матрасы, столы со сломанными ножками, древние китайские напольные часы массового производства, вроде как популярные в безымянном сгинувшем десятилетии. Отвергнутые автоматы, вьетнамские боевые куклы с давно закончившейся войны. Картины. Печатные книги, плесневеющие, рассыпающиеся страницы – словно листья. Компрессоры от гигантских холодильных установок для рыбы. Поблекшие турецкие ковры.

А один раз – ребенок.

Ибрагим нашел младенца, совершая обход. Было раннее утро, насилу рассвело. Ибрагим двигался по Саламе и свернул к Центральной.

Кварталы адаптоцвета в вышине колыхал бриз. Адаптоцвет, как сорняк, опутывает Центральную. Он разросся на задворках старого района вдоль древних заброшенных шоссе Тель-Авива, кольцуя титаническую структуру вознесшегося к небесам космопорта. Дома распускают почки, будто деревья, они цветут; вездесущий сорняк питается дождем и солнцем, зарываясь корнями в песчаную почву, ломая древний асфальт. Кварталы адаптоцвета, переменчивые, зависимые от времен года, опутывают стены, двери и окна; полуоткрытая канализация болтается на ветру, обнажаются бамбуковые трубы, квартира обрастает квартиру снаружи и вырастает в нее внутри без порядка или логики, появляются подвисящие над пропастью тротуары, дома под безумными углами, лачуги и хибары с наполовину сформированными дверями, окна, похожие на глаза...

Осенью кварталы линяют, двери жухнут, окна медленно скукоживаются, трубы никнут. Дома, как листья, опадают на землю, и уличные уборщики счастливо мурлычут, заглатывая сморщенную листву бывших жилищ. В вышине обитатели кустарных сезонных трущоб ступают с опаской, пробуя настилы на прочность, вдруг те не выдержат, и нервно мигрируют по линии горизонта в иные, более свежие ответвления адаптоцвета, нежно расцветающие, окна распахнуты, как лепестки...

Металлическая и пластмассовая рухлядь на дороге внизу. Ибрагим не знал, чем эта рухлядь была раньше: вероятно, автомобили и бутылки из-под воды, из которых сделали никому не нужную скульптуру. Искусство разрасталось на Центральной так же, как дикая техника.

Младенец лежал неподалеку. Маленький сверток; Ибрагим не замечал его, пока тот не шевельнулся. Старик осторожно приблизился; бывало, что вещи на Центральной сходят с ума. Порой среди мусора попадаются змеи, еще живые боевые куклы, адаптоцветная мебель с враждебным софтом, старое оружие и боеприпасы, сотворенные юбер-юзерами виртуальные религиозные артефакты непонятной мощи...

Ибрагим подошел к свертку, тот агукнул. Старик вмерз в мостовую. Знакомый звук. Как-то раз Ибрагим наткнулся на волчонка, контрабандой привезенного из Монголии. Волчонок умер в неволе. Он издавал такие же звуки.

И все-таки Ибрагим шагнул ближе. Пригляделся.

На него смотрел ребенок. Обычный ребенок, каких видишь каждый день повсюду: в Яффе и на Центральной полным-полно детей. Только этот лежал в коробке из-под обуви.

Ибрагим опустился на колени. Коробка с дешевым брендом. Ясные зеленые глаза младенца лучатся, он темнокожий, волос на голове нет. Ибрагим уставился на ребенка. Вокруг – никого. Младенец рыгает.

Ибрагим протянул руку к мальчику – это был мальчик – опасно, все еще недоверчиво. На Центральной надо всегда быть начеку. Мальчик поднял ручку в ответ. Умен не по годам. Они будто стремились к рукопожатию. Пальцы соприкоснулись. Ибрагима ударил поток данных, шедших словно по скоростной сети. Сознание заполнили образы. Невероятные. Виды с колец Сатурна. Битва четырехруких краснокожих марсианских Перерожденных в их виртуальной империи. Рабби на космолете, летящем в Пояс, молится в поле астероидов, в сырой комнатке внутри древнего шахтерского суденышка.

В прикосновении мальчика звучал токток блонг нараван, язык Иных.

Иной Ибрагима очнулся. Сказал: Какого...

Сознание Ибрагима не выдержало атаки. Инфобуря бушевала, отклоняясь к Иному, а тот схлопнулся, пытаясь совладать...

Одно ясное слово выпорхнуло из цифроворота, и Ибрагим раболепно скорчился...

Мессия...

Убери руку!

Легкое прикосновение ребенка лишило его свободы. Он сражался...

Младенец рыгнул и улыбнулся. Контакт пропал.

Ибрагим: Ты что-нибудь понял?

От Иного – ни образа.

Ибрагим:?

Иной, наконец-то:!

Ибрагим уставился на ребенка, и Иной – через глаза Ибрагима – сделал то же самое.

Одна мысль в обоих сознаниях:

Опять? Только не это!

Ибрагим мог бы сообщить об опасности. Транслировать посредством нода сигнал бедствия, чтобы тот поскакал по бесчисленным сетям, опутавшим этот город, эту планету, населенный людьми космос окрест, планеты, луны, кольца – и корабли Исхода тоже. Материализовались бы миротворческие машины, паукообразные, мехаубойный отдел двойного кодирования, ведь в буферной зоне иначе никак: Центральная отделяет арабскую Яффу от еврейского Тель-Авива. Глубоко зашифрованный цифровой спор о юрисдикции, анализ ДНК мальчика... Но уже по цвету глаз (торговая марка «Боуз», хакнутая, копирайту лет сорок, он по-прежнему защищен суровым законом) Ибрагим все понял. Мальчик был чан-рожденным; такое делали только на Центральной.

Программа выведения мессии? – спросил приходивший в себя Иной.

– Понятия не имею.

Ибрагим сказал это вслух, но негромко. Младенец булькнул.

Это разумно?

– У тебя есть другие предложения?

Мне это не нравится.

Коммуникация ускорялась, речь замещалась закодированными образами, облаками смыслов. Обрубив цифросток на середине, Ибрагим поднял ребенка.

– Мальчик, – сказал он, ни к кому не обращаясь, вспоминая иерусалимское убийство, будто это было вчера, – заслуживает другой судьбы.

Случилось это много лет назад. Мальчика назвали Исмаил. Его растили заботливо, как могли.

Ибрагим жил на гигантской свалке, обозначавшей границу Яффы и бывшего еврейского города Бат-Ям. Там обитали полуразумные машинки и роботники, все бездомные и никому не нужные.

Свалка.

Дворец Ненужного Старья.

Казалось, что для мальчика он идеален.

Так что Исмаил рос, учась арабскому у жителей Аджами и боевому идишу у роботников. Он говорил на астероид-пиджине, он же токток блонг спес. Он говорил на иврите соседнего города. Повзрослев, он иногда помогал Ибрагиму во время обходов территории.

Через Аджами к часовой башне, по Саламе к Центральной... Ибрагим подбирал раненные вещи, его роботники ржавели и гнили заживо на улицах Центральной, а он подбирал их, чинил, и они отвечали ему верностью – тем единственным, что могли дать. Еще куклы из синтеплоти, перелатанные, с отторгавшимися органами, размером с ребенка, лица едва намечены, одни сбежали из плотонариев, другие были солдатиками на городских войнах, все массово импортировались с заводов на другом конце света и вышвыривались на свалку за ненужностью.

Трансживотные – их франкенштейнили в домашних лабах любознательные детки с геноконструкторами и инкубаторами. Ручной дракон Ибрагима, грустное создание, переделка водящейся на Канарах лагарты хиганте де ла Гомера,

полумеха с аппаратом для огненного дыхания; несчастную тварь, кашляющую огнем, мальчик прозвал Хамуди, несмотря на все свидетельства обратного – ничего милого в ней не было.

Все это племя обитало на обширной свалке, которая образовывалась слой за слоем веками, – рай для археолога, который мог найти тут что угодно, останки любой эпохи.

У мальчика были... вселяющие тревогу привычки.

Он мог предсказывать погоду в данной местности. И не столько предсказывать, беспокойно размышлял порой Ибрагим, сколько делать так, чтобы прогноз сбылся.

Когда Исмаил спал, его сны иногда овеществлялись над его головой: ковбои и индейцы гоняли друг друга в мутно-сером пузыре сновидения, который формировался из атмосферной влаги и испарялся, едва БДГ-сон уступал место более глубоким состояниям НБДГ.

У мальчика имелось сродство с машинами. Нод ему, как и всем детям, вживили при рождении. Он не был Соединен с Иными или подключен к ним, и все-таки временами Ибрагиму и его Иному отчетливо казалось, что мальчик слышит их разговоры.

Конечно, ты знаешь, что это такое, – сказал Иной.

Ибрагим кивнул.

Они стояли во дворе. Солнце палило вовсю, и за каменными домами Аджами море лежало гладкое, как зеркало; над ним ныряли и вздымались на ветру солнечные серферы.

Есть и другие. Дети, рожденные в чан-лабах Центральной станции.

– Я знаю.

Нам нужно поговорить с Оракулом...

Ибрагим знал ее давно. Знал даже ее настоящее имя. Никто не рождается оракулом... А еще они были родней – по крови и по Иным. Ибрагим сказал:

– Нет.

Ибрагим.

– Нет.

Мы совершаем ошибку.

– Дети сами выберут свой путь. Со временем.

– Баба! – Мальчик подбежал к Ибрагиму. – Можно, я сегодня поеду с тобой на телеге?

– Не сегодня, – сказал Ибрагим. – Может быть, завтра.

Мальчик сморщился от разочарования.

– Ты всегда говоришь, что завтра, – обвинил он.

Здесь безопасно, – сказал Иной безмолвно. – Здесь он под защитой.

– Но ему нужно играть с ровесниками.

– Что такое, Баба?

– Ничего, Исмаил, – сказал Ибрагим. – Ничего.

Но он лгал.

Через пару месяцев умер дракон Хамуди. Прошли похороны, самые пышные за всю историю Дворца Ненужного Старья. Дракона провожал почетный караул из

потрепанных боевых кукол и работников, соседи по району явились, несмотря на жару, в траурных одеждах. Старьевщики выкопали яму, извлекли из нее схороненные сокровища – ржавый велосипед, коробку темного дерева с шахматами ручной работы, металлический череп. Слепой нищий Ной, друг Ибрагима, стоял рядом с ним, когда гробик опускали в землю. Обряд совершила священник – марсианская Перерожденная, последовательница Пути; ее красная кожа сверкала на солнце, четыре руки совершали сложные движения, пока она ткала узор из слов скорби и утешения, рассказывая о том, как принимает дар Император Времени. Исмаил тоже был там, и слезы его уже высохли.

Слепой нищий Ной с драгоценными камнями вместо глаз следил за церемонией через нод сразу по нескольким каналам. Пришел Пим, знаменитый мнемонист, и похороны вплелись в его Нарратив длиной в жизнь. Все данные отправлялись подписчикам Пима, чьи номера миллионами мерцали по всей Солнечной системе. Как ни крути, вышло все трогательно и возвышенно.

– Что за мальчик рядом с Исмаилом? – спросил Ной.

Ибрагим взглянул:

– Какой мальчик?

– Маленький, тихий.

Ибрагим нахмурился. Прислушался к шепоту Иного в голове. Ибрагим переключился – глаза могут лгать. Он посмотрел на Исмаила так, как это делал Ной, через Разговор.

Теперь мальчик стал заметен, но фрагментами. В некоторых фидах его не было вовсе, в некоторых он был всего лишь тенью. Цельную картинку давал только многомерный взгляд Ноя. Мальчик и Исмаил молчали, и все-таки Ибрагиму показалось, что они лихорадочно разговаривают.

Темно-синие глаза. «Армани», не иначе. Ибрагим не помнил, видел ли он мальчика прежде. Еще один ребенок Центральной. Мальчик посмотрел на него, каким-то невозможным образом ощутив чужое внимание. Улыбнулся уголками губ.

Миниатюрного дракона погребли под землей. Перерожденная пропела завершающие слова прощания. Роботники летаргически отдали честь. Палило солнце.

– Твой друг – кто он? – спросил Ибрагим, когда они чуть позже пили холодный лимонад в тени останков автомобилей.

Подростки озорно осклабились, и мальчик сказал:

– Нэм блонг ми Кранки.

Меня зовут Кранки.

Видеть мальчика было нелегко. Он переключался с одного визуального фида на другой – призрак в перепутанных сетях.

– Привет, Кранки, – сказал Ибрагим.

– Меня мама зовет, – сказал вдруг мальчик. Его голос шел издалека, из ниоткуда. – Я пойду.

Он исчез, и Ибрагим встревожился.

– Мессианский импульс сильнее всего при сосредоточении, – заметил Ной философски. Похороны завершились, Исмаил убежал. Ибрагим знал, что мальчик играет на пляже с другими детьми. На этот раз – во плоти. – Наша земля всегда как магнитом притягивала искателей веры.

Слишком многое оставалось несказанным. Ибрагим осторожно подбирал слова:

– Я хотел, чтобы мальчик жил нормальной жизнью.

Ной пожал плечами, и его глаза, драгоценные камни, слабо просияли:

– Что значит «нормальной»? Мы с тобой – пережитки древнего прошлого. Окаменелые раковины под барханами времени.

Ибрагим нехотя рассмеялся:

– Ты рассуждаешь как Перерожденный.

Ной ухмыльнулся, потом снова пожал плечами:

– Перерожденные верят в прошлое, которого не было. Ищут виртуальные окаменелости.

Улыбка сошла с лица Ибрагима.

– А на самом деле? – уточнил он.

– А на самом деле эти дети – будущее. Может, не какое-то определенное, но просто будущее – точно. Фрагменты будущего в настоящем. Мы с тобой оба это понимаем. Будущее ветвится, как дерево.

– Сколько? – беспокойно спросил Ибрагим. Ной хмыкнул.

– Детей?

Ибрагим кивнул. Ной сказал:

– Спроси человека из родильных клиник. – Он тяжело поднялся. – Пойду-ка я. Офелия уже заждалась.

Ибрагим остался на свалке один. Город, казалось, готовился к крестовому походу. Ибрагим еще помнил, как мессия, настоящий, генетически удостоверенный потомок царя Давида, прибыл в Иерусалим на белом ослике, со всеми положенными знаменами. Не конкретный конец света – просто конец света. А потом кто-то снял мессию из снайперской винтовки.

Одним мессией меньше.

Этой части мира мессия нужен всегда. Другим тоже. Ходили слухи о лаосском проекте «Сингулярный Иисус». Черные Монахи. Говорили, на Марсе, в Новом Израиле, выращивают обширное виртуалье, в котором не было Холокоста. Шесть миллионов множащихся духов. Говорили, астероид Сион улетает прочь из Солнечной системы, следуя за наведенной мечтой инопланетного бога. Ибрагим был стар. Он бродил здесь еще во времена апельсиновых рощ. Когда-то в Яффе останавливались пароходы, и верблюды доставляли в бухту апельсины сорта «шамути», и лодчонки перевозили их на поджидавшие корабли. Этот город всегда был узлом в глобальной сети. Грузы переправлялись в Англию, в порты Манчестера, Саутгемптона, Плимута, и люди там еще помнили апельсины Яффы.

Центральная станция нам в новинку, думал он. Новый узел новой сети. Где-то в этом микрокосме отчуждения зарождались новые религии, выводились мессии. Ибрагим хотел для мальчика нормальной жизни. Но нормальная жизнь – никогда не данность: это иллюзия консенсуса, и мальчик с глазами от «Армани» видел ее насквозь.

Такие дети рождались искусственно. Кто-то планировал их появление. Однажды мальчик изменится, но чем он станет – этого Ибрагим пока не знал.

Той ночью, после похорон, Ибрагим сидел во Дворце Ненужного Старья, когда Исмаил вернулся с пляжа. Маленькое гибкое тело еще искрилось каплями морской воды, глаза светились, Исмаил улыбался. Ибрагим, у которого не было своих детей, обнял мальчика.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/tidhar_levi/central-naya-stanciya

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)